

## Дважды два

Книга Лундберга «Мережковский и его новое христианство» - книга, враждебная Мережковскому, а не только спор с ним.

Возникновению спора с большим писателем надо было бы радоваться, потому что всякая искренняя, а тем более выстраданная, мысль заслуживает обсуждения, стало быть, и возможного оспаривания... но почему же – вражда? Чем вызвана вражда критика к писателю? в такой степени, что тон книги порою кажется непредубежденному читателю прямым злопыхательством?

С первых страниц мучается критик в этих внешних противоречиях, и, чем дальше, тем глубже запутывается, потому что он исходит из ложных и притом не высказанных начистоту оснований.

Мережковский не имеет критики, но он популярен. Вот бесспорное положение, из которого должен изойти его критик и сразу спросить себя: в чем же дело? и отсюда уже идти дальше.

В чем же дело? да в том, что у нас критика до сих пор отстаёт от публики, и публика, вообще говоря, - правее критики, а не наоборот, как думает Лундберг и вместе с ним та часть нашей литературы, которая во что бы то ни стало стремится очернить «чернь» и возвеличить «гениальность» литературы. Точь-в-точь, как было сто лет тому назад!

Публика уже давно приняла и, можно сказать, впитала в себя Мережковского. Теперь нет такого грамотного учителя словесности, который бы не пользовался критическими идеями Мережковского в своих объяснениях русских писателей.

Популярность Мережковского – популярность не поэта и не романиста (хотя романы его все знают), но именно критика. Критика – философа и публициста одновременно. В том же роде, в каком была критика Белинского, Григорьева, Михайловского. Его поэзия, несмотря на то что в ней встречается поэзия подлинная – есть поэзия ума по природе своей – критического. Его романы, несмотря на то что в них есть художественность несомненная – колеблются на рубеже искусства и критики. Его критические статьи, начиная с юношеских лекций «о причинах упадка русской литературы», были всегда общественны. Внутренне-общественны. Как внутренне общественно была вся наша критика до сих пор. Никогда не отвлеченная от общественного бытия, никогда не чисто эстетическая, не чисто философская, не чисто научная. Литературно-общественная. В особом – русском, национальном смысле. И таковой она навсегда должна остаться. В духе Белинского. Критикой, в которой не знаешь где кончается литературный анализ, и где начинается философия; где кончается философия и начинается сатира, лирика – чуть ли не эпос!.. Мережковский последнее влиятельное явление критики такого типа.

Внутренняя жизнь Белинского выражалась в его критике. И этим она жива. Какое нам дело, ошибался Белинский в своих оценках или нет? Знал он Канта или не знал? Чистокровная это была критика или не чистокровная? Дважды два, кто сомневается, четыре, - но какое нам до этого дело в литературе, которая есть само живое творчество жизни? Однако Волынский

когда-то, захлебываясь от своей эрудиции, доказывал, что Белинский не знал Канта. Айхенвальд в этом году – с педантизмом, которым кончают так часто сантиментальные умы, внушал своим доверчивым читателям, что Белинский не был чистокровным и последовательным критиком. Лундберг, помянув добром Волынского за его разрушение Белинского, доказывает, что Мережковский, при всех его достоинствах, противоречит себе на каждом шагу. Дважды два четыре! Радует Лундберг. Противоречил себе Белинский, противоречит Мережковский... На смену позитивно-общественной критике – уже шли мистики: и Толстой, и Достоевский, и Вл. Соловьев, а затем и Мережковский. В Мережковском опять сказался этот наш национальный – с точки зрения Лундберга (и не только его) – недуг, а с моей (и не только моей) – наше великое человеческое достоинство. Мережковский вошел в литературу с тем беспокойством духа, которое всегда *ищет*. Его имя и связалось уже в нашей истории с названием богоискательства. Своим искательством, своей вечной неудовлетворенностью он заражал – и заразил. И на самом деле определил своим влиянием развитие целого поколения, как никогда не определил бы напр. Волынский, а тем более Айхенвальд! Многие из нас воспитались на Мережковском. В этом надо сознаться и высказать ему благодарность. Все те – кто, воспитываясь в 90-ых годах, уже не хотели идти за позитивистами. Толстовство стало сразу сектантством; Достоевского мы тогда еще не уразумели, а Вл. Соловьев сузил себя сам в исповедном доктринерстве – Мережковский был с нами, среди нас. Не сектант, как Толстой, и не одинокий заклинатель стихий, как Достоевский; и не было в нем доктринерства Соловьева. Он был интеллигент и литератор; «литературщик» – как называл себя Белинский. Также, как и все мы, с эпохи Белинского, а, может быть, еще с Карамзинских «Писем» – «литературщики». Т. е. все питались и двигались литературой. В литературной деятельности Мережковского совершался для нашего нового сознания литературный и с тем вместе общественный (как давно у нас стало в России) – поворот от позитивизма к религиозности.

Я не знаю другого явления из эпохи 90-х годов, которое имело бы такое воспитывающее влияние на критическое наше сознание, кроме еще «Мира Искусства», теперь уже уходящего в прошлое как Мережковский – рядом с Вл. Соловьевым, влиятельным лишь в немногих, главным образом, студенческих философских кружках.

Это признавалось тогда всеми, понимающими пути нашего развития. Все, что было тогда литературно-передового, завязывалось около него, через него так или иначе проходило. Я помню, когда я показывал в те годы мои стихи Минскому, первый его вопрос был: видел ли их Мережковский: «ведь он у нас отец символизма...» А между тем Минский сам мог бы считать себя одним из «отцов» символизма... Потом – развернулось! Потом – зацвело и расцвело. Потом влияние Мережковского сменялось другими. Потом все завертелось вокруг Вяч. Иванова. Теперь можно задать себе лишь вопрос – не уходит ли Мережковский в прошлое? Указывает ли он на пути будущего? Но, прежде чем, задавать этот вопрос, надо было со всей справедливостью

«установить значение», как говорят в учебниках. И по отношению к Мережковскому это еще не было сделано.

Лундберг и не задает себе вопросов о Мережковском для нашего будущего. Отрицательный ответ предreshен несправедливым отрицанием значения большого писателя, еще не оцененного для эпохи совершившейся.

Дважды два – увлекло критика так далеко, что ему самому должно стать, когда он опомнится, - и скучно, и жутко.

По культуре своей он иррационалист, ницшеанец буддистского типа. Его влечет к себе «душа ночная» - «ночная мудрость». Он думает, что Мережковский этой «ночной души» не знает. Это было бы острым местом спора, если бы Лундберг на нем остановился. Но он бросает лишь упрек в отсутствии этой «мудрости» - в незнании «темной первоосновы мира» - предмету своего недоброжелательства: писатель, на котором он вырос, как и все люди его поколения, и все время срывается в самую глухую и пустую рассудочность. Мережковский недопонял Толстого, Мережковский недопонял или даже извратил Достоевского, Гоголя, Лермонтова... Мережковский согрешил против Чехова, Тютчева, Некрасова... Мережковский выдумал собственного Серафима Саровского...

Дважды два увлекают критика в ущерб и «ночной мудрости», и в ущерб правде. Что за дело до того, что в критике Мережковского столько новых прозрений, что их хватит еще не на одно поколение! Что за дело до того, что только Белинский отличался, кажется, таким почти безукоризненным литературным вкусом! Нечего и повторять, насколько мелочно-рассудочно требование от критики быть арифметически объективной, как хотел этого старый Волынский, захотел и новый Айхенвальд. Здесь и выразилась та подсознательная порочность мировоззрения Лундберга, о которую он спотыкается неизменно, так как она-то и есть его тайный камень преткновения. И не только – его. Потому что по культуре своей он иррационалист, а по природе рационалистичен.

Предположим, что Мережковский, на самом деле, чужд «ночной души» (это, разумеется, одно злопыхательство, и я не верю, чтобы Лундберг в это верил!) Но Мережковский исповедует религиозную культуру. Если бы Лундберг действительно основал свое доказательство безграмотности Мережковского на незнании им «ночной души» - или, попросту говоря, иррациональной стихии, это был бы спор одного религиозного человека с другим – из двух разных мироощущений, и мы могли бы прислушаться к нему. Однако критик роковым для себя образом скользит по этому основному упреку и сводит, наконец, весь спор к двум возражениям, в которых вся его порочность и выступает наружу. Вот когда автор мог бы пожелать, чтобы его книга не была дочитана!

1) Он требует от Мережковского обоснования той мысли, что «мир, который принято называть реальным, есть символ, есть часть иного, более значительного организма».

2) Он с негодованием отвергает «допущение», что «цель и смысл жизни есть счастье, и что счастье есть любовь» как положение противорелигиозное.

И вместо него указывает на покорность Богу, как принцип религиозный. И правда. В обоих случаях, особенно во втором, дважды два – уже не четыре!

Реальный мир есть часть более значительного целого, на взгляд всякого, элементарно мыслящего мистического сознания. Об этом говорил и нравящийся критику Джемс – еще задолго до своего знаменитого «Многообразия...» А в том, что цель и смысл жизни не есть *покорность* Богу, а свободный союз, завет свободно хотящей, свободно мыслящей и свободно действующей человеческой воли – и заключается та «новая» вера, которая уже давно называется христианством и этим отличается вообще от завета ветхого, что в нем была определена, по преимуществу, *покорность* Богу, покорность «ночной Душе», покорность, которая есть признак пантеизма. – «Иаков» остался в этой покорности, «Израиль» вырвался из нее – и донесся до христианства. Для рассудочной души новой Европы, в огромном большинстве случаев, пантеизм был предел в развитии ее религиозных настроений. Отсюда покорность, вечная проповедь покорности! Однако реформация уж не была покорностью!..

Мережковский начал с пантеизма и – преодолел его. Лундберг говорит, что Мережковский ни в чем ничего не преодолел. Уступлю и здесь. *Хочет* преодолеть!.. Хочет, не удовлетворяется. Лундберг *не хочет*. Он думает, что «ночная душа» утоляет. Кого – да, кого – нет! Те, кто ею не утоляется, пойдут за Мережковским. Кто – да, будут спорить с ним или ему подобными. Но – враждовать здесь предосудительно – для того, кто утверждает, что он спорит за свободу духа.

Есть еще одна – самая основная, самая глубокая, но нигде даже не намеченная критиком точка расхождения его с «новым христианством». И это понятно. Если он не принимает христианской религиозности, то ему и должен был остаться совершенно чужд последний порыв литературно-общественного дела Мережковского: тоска по новой церкви – тоска предельная, революционная.

Эта тоска, в которой и выражался весь общественный дух религиозной личности Мережковского, должен казаться критику одним лицемерием. Ведь по революционизму Мережковского Лундберг недоверчиво и небрежно скользит. Он верит только в его бывший эстетизм, вытекавший из бывшего пантеизма.

Он жалеет, что писатель в этом не остался, не «удержался». Не умел «удержаться» – на благородном созерцании и молчании.

Так разошелся с Мережковским его ученик, сумевший «удержаться» на первой ступени в развитии враждебного ему теперь писателя. Так отвергают «новое христианство» те, кто желают остаться в пантеизме и – неизбежно следующих отсюда бездейственной покорности и созерцательной изысканности...

Или остаться нам в этих тесных границах? и пить из этих ненасыщающих источников?

В порыве к церкви у Мережковского сказались неслучайно навязавшаяся его мятущемуся сознанию мысль, а та, которая двигала им

раньше, - едва сознаваемая, и наконец, разгорелись пожаром. В противоположность Лундбергу, который вторит распространенному мнению, я вижу в литературной личности Мережковского, в самых первых ее путях, и во всех позднейших – без исключения, невзирая на его долголетние опыты бодлеризма, флоберизма, поэизма, ницшеанства и пр. и пр., - признаки личности именно общественной по своему существу: долго блуждавшей и терявшейся в различных индивидуалистических эстетизмах. Личности – противозстетической – общественной. Не в смысле общности партийной, и тем самым неотстранимо связанной с той или иной экономической задачей; но в смысле общекультурном. Не так, как Чернышевский или Михайловский, но скорее, как Достоевский или Толстой. Или в Достоевском и Толстом жила душа не общественная?.. О нет! Только материальное, голое понимание общности может принять такое толкование их. – С общности, *в этом смысле*, Мережковский и начал, из этого он вышел, но с этого чуть было не свернул, - и к этому-то теперь вернулся – решительно. Поэтому упрек Мережковскому в безобщности, повторенный Лундбергом, дик – т. е. первобытен.

Таким же невразумительным представляется мне обвинение в том, что революционность Мережковского только литературная. Давно сказано, что слово писателя есть его дело. А если слово стало бы в его собственных руках еще и действием, тогда мы назвали бы его не только писателем.

Дело Мережковского сейчас – и может быть, навсегда останется делом только литературным. И я никогда не соглашусь на обвинение писателя общественного в бездейственности. Что за пренебрежение к литературе – отвергать в ней революционные порывы! Мы от такой литературы не откажемся – и не откажемся называть ее делом. Дело, которое творит Мережковский своей литературной деятельностью, есть дело, по духу своему – общественное. Внимание его всегда было занято общественным развитием. Сперва он думал толкать это развитие в сторону художественных волнений, веря в их революционную силу – индивидуалистически. Но религиозное семя, заключенное в таком веровании, дало росток, который перерос требование от общества – волнений художественных. Коренная антитеза, найденная Мережковским во всемирной культуре (Христос и Антихрист) – не нашла себе разрешения в границах искусства. Искусство в своем результате созерцательно, молчаливо-неподвижно. Большинство художественной стихии принадлежит творцу, а не читателю, не зрителю, не слушателю, - не публике. Не обществу в его целом: оно замирает, застаивается в преклонении, в удивлении, в восхищении. Религиозность требует общего движения, общего действия, осуществления во всех. Религиозность христианская – по преимуществу, так как она содержит в себе как свой внутренний смысл и вызывает из себя религиозную общественность. –

Вот скрытая эволюция новой церкви, к которой пришел русский богоискатель. В этой эволюции – его собственное личное развитие. Это личное его развитие у всех нас перед глазами, оно протекало в течение нескольких десятков лет публично – перед судом всего общества и отразилось в 15-ти

томах его сочинений. Лундберг отказывает Мережковскому даже в праве считать собрание своих сочинений – историей своей внутренней жизни, в праве всякого писателя, не лицемерящего.

В предисловии к этому первому собранию своих сочинений Мережковский высказывает еще раз ту мысль, которую он высказывал и раньше и которая есть мысль в сути своей – церковная: *ново-церковная*. Он не считает себя индивидуально ни героем и ни реформатором. Он признает себя одним из членов будущей, уже грядущей, уже творимой – церкви, отождествляемой им с творимой в наши дни религиозной общественностью.

Лундберг не видит и не мог увидеть в этом отказе от индивидуалистического героизма мораль новую – именно, общественную. Мораль новой – повторю еще раз, уже творимой церкви, так не похожую на мораль старую. Как и во всем остальном Лундберг мыслит о церкви новой исключительно по образцу старой; там, где он об этом, между прочим, высказывается. Но вообще критик «нового христианства» мыслит о христианстве вне идеи церкви: так далек он в своем сознании от заветнейшей «души христианства».